

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Сберегательный банк СССР предлагает вкладчикам новую форму расчетов за промышленные товары и услуги — чековую книжку. Она действительна на всей территории РСФСР.

● Чековая книжка может быть выписана на ваше имя в учреждении Сберегательного банка, где вы открыли счет по вкладу до востребования на любую сумму в пределах остатка по вкладу. При этом сохраняется порядок совершения операций по вкладам и доход по ним.

● Чековая книжка содержит 12 чеков.

● Чеками чековой книжки вы можете рассчитаться за промышленные товары в магазинах государственной и кооперативной торговли, а также за все услуги, предоставляемые различными предприятиями и организациями.

● Чек на оплату товара или услуги выписывается на любую сумму в рублях и копейках — в пределах остатка по чековой книжке.

● В учреждениях Сберегательного банка по чековой книжке вы можете получить наличные деньги или поручить получение денег по чеку другому лицу по доверенности.

● Более подробно с правилами пользования чековой книжкой вас ознакомят в любом учреждении Сберегательного банка.

Российский республиканский
банк Сберегательного банка СССР



ОГОНЁК

№ 29

1988



Расул ГАМЗАТОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ДВЕ ПОЭМЫ

Расул ГАМЗАТОВ

ДВЕ ПОЭМЫ

*Перевел с аварского
Яков Козловский*

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Расул ГАМЗАТОВ

Расул Гамзатович Гамзатов родился в 1923 году в горном ауле Дагестана — Цада. Был учителем. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Печатается с 1937 года. Автор многих поэтических книг. Стихи Гамзатова обрели широкую известность. Они переведены на языки всех республик страны и на иностранные языки. Расул Гамзатов удостоен Ленинской и Государственной премий СССР, а также многих международных премий.

Герой Социалистического Труда. Секретарь Правления Союза писателей СССР. Член Президиума Верховного Совета СССР.

ЛЮБОВЬ ШАМИЛЯ

Лихой слуга пророка
Примчал, коня загнав,
В Дарго из-под Моздока
Наиб Ахбердилав.

Достойный всех отличий,
Себе он цену знал
И с трепетной добычей
Пред Шамилем предстал.

«Привез тебе армянку
И не в укор мне быть».
Взглянул на полонянку
И просветлел Шамиль.

Смотрел, чалмой повитый,
Он неба посреди
На лик ее открытый
И вырез на груди.

Всей кровью возгорая,
Не помня жен и ран:
«Как эту птицу рая
Зовут?» — спросил имам.

(«О, боже, как желанна!
Подобных не видал».)
«Она зовется Анна», —
Ахбердилав сказал.

Чечни и Дагестана
Прервал его имам:

«Ей горского чекана
Я нынче имя дам!

Возлюбленной женою
Она, иль ты не рад,
Мне будет под луною,
Не Анна — Шуайнат.

Я веру не ославил
Пред верою иной».
И бороду оправил,
Окрашенную хной.

И вспомнил, что в молитвах
К всевышнему взывал
Лишь об одном, чтоб в битвах
Успех он даровал.

«О, боже, я, как воин,
Омыл клинок в крови,
И разве не достоин
Я по сердцу любви?»

И грудь Ахбердилава
Тревожно явь прожгла:
Плененная им пава
В плен Шамиля взяла.

И молвил верный кручам
Ахбердилав лихой:
«За пленницу получим
Мы выкуп неплохой.

Ее родня богата,
Пополним мы казну».
«Я и за горы злата
Любимой не верну!»

Вблизи речного гула
Наиб сжигал мосты:
«Она ведь дочь гяура,
И правоверный — ты.

Мечетей вскормят груди
Недобрый слух в горах».

«В любви равны все люди,
И милостив аллах».

«Мы оскорбим бесчестно
И недругов своих,
Ведь пленница — невеста,
Есть у нее жених».

«Забыл простого нрава
Ты истину одну:
Засватавшего право
Бьет тот, кто взял жену».

«Носить чадру красotka
Не станет. Погляди,
Нет возле подбородка
Застежек на груди».

«Наиб мой приближенный,
Не можешь ты не знать,
Что сабле — обнаженной
Случается бывать».

«Не спорь, мой похититель, —
Сказала Анна вдруг, —
Пусть горцев предводитель
Объявит всем вокруг,

Что проливать не стану
Слез над золой утрат.
Пусть мир забудет Анну,
Запомнив Шуайнат.

Я чтить, имам, готова
Суровый твой закон.
Сойду, лишь скажешь слово,
Как сабля, в глубь ножон.

Я сделаюсь аваркой,
К судьбе твоей припав...»
И вскоре в схватке жаркой
Погиб Ахбердилав.

И преклонил вершины,
Мой Дагестан, не ты ль,

Когда вблизи Медины
Покинул мир Шамиль?

И посреди пустыни,
Где багровел закат,
Оплакан был в кручине
Он верной Шуайнат...

К подножью гор мой поезд
Летел через Моздок,
И к столику пристроясь,
Писал я эту повесть,
От вымысла далек.

1986

ЛЮДИ И ТЕНИ

* * *

В кругу вершин стою на крыше сакли
И к темной бездне обращаю взгляд.
Мерцают звезды вещие не так ли,
Как два тысячелетия назад?

Пришла пора задуть огни селеньям.
Спокойной ночи, люди! Надо спать.
И, в дом сойдя по каменным ступеням,
Гашу я лампу и ложусь в кровать.

Но почему глаза мои открыты
И нет покоя мыслям в голове?
Раскалены их тайные орбиты,
Как жар на неостывшей головне.

И со слезами шепотом усталым
Я мысли пощадить меня молю,
И, с головой укрывшись одеялом,
Лежу, как мертвый, будто вправду сплю

И вижу,
сдавшись времени на милость,
Оставшийся с былым наедине:
Я не один в себе, как раньше мнилось,
Два человека ужились во мне.

В дали туманной годы, как планеты,
И, верный их загадочной судьбе,
Раздвоенного времени приметы
Я чувствую мучительно в себе.

Когда и где попутать смог лукавый?
Но кажется: два сердца мне даны —
Одно в груди постукивает с правой,
Горит другое — с левой стороны.

А на плечах, как будто две вершины.
Две головы ношу я с давних пор.
Воинственен их спор не без причины,
И не поможет здесь парламентар.

И сам с собой дерусь я на дуэли,
И прошлое темнеет, словно лес.
И не могу понять еще доселе,
Когда я Пушкин, а когда Дантес.

И слезы лью, и веселюсь пируя,
Кричу, едва губами шевеля,
И сам себя победно в плен беру я,
Как белый император Шагиля.

Порой я время заключал в объятья,
Восторженным признанием почив,
И посылал не раз ему проклятья,
От собственного сердца отлучив.

За много лет до середины века
Не временем ли были рождены
Во мне одном два разных человека,
Враги, не прекращавшие войны?

И памяти распахиваю дверь я,
Порою всемогущ, порою слаб.
В себе познавший веру и безверье.
Любви слуга и ненависти раб.

Ничто в минувшем не переизменишь,
Я сам себе защитник и судья.
О ты, моя комедия, что плачешь?
Смеешься что, трагедия моя?

Встречал я речки с множеством излучин,
И чём-то с ними в этой жизни схож.
Никто меня так не терзал, не мучил,
Как мысли, от которых не уйдешь.

И ночи отражая, и рассветы,
Они порою шепчут: — Погоди,
Быть может, и великие поэты
Несли два сердца смолоду в груди?

Нет, не они вводили эту моду,
Греха такого им не припишу,
В жестокий век прославивший свободу,
Я у тебя прощения прошу!

Как много звезд, как много звезд падучих!
С небес они упали отчего?
Прости меня и ты, лихой поручик,
Заветный друг Кавказа моего.

Одно лишь сердце было у Махмуда¹,
И не грешил двумя сердцами Блок.
Откуда появляется, откуда
Второе сердце — кто б ответить мог?

И, наважденья времени развеяв,
Отмеченный печальною звездой,
Ко мне приходит Александр Фадеев,
Седоголовый, статный, молодой.

И подношу я дружеской рукою
Ему вина искрящегося рог,
Но он не пьет, и все глядит с тоскою,
И от застолья прежнего далек.

О годы, годы! Нет, не на воде их,
А на сердцах написаны круги.

¹ Махмуд — аварский классик конца XIX — начала XX века.

— Прошу тебя я, Александр Фадеев,
Мне в прошлом разобраться помоги.

И тень его лица легла на стену,
И слышу голос я, что не забыт:
— Друг молодой мой, вспоминаю сцену;
С отцовской тенью Гамлет говорит.

Он не безумен, истина дороже.
Чем в королевстве высшая ступень.
И времени —
вглядись в меня построже,—
Лежит на мне мучительная тень.

Ах это время! Лозунгам и фразам
Пустым и лживым не было конца,
И сокрушался от печали разум,
И ликовало сердце у глупца.

Судья нам совесть — ты запомни это,
И, не окончив вдохновенных дел,
В себе я пулюю из пистолета
Кривое время выпрямить сумел».

Стоит раздумье у плиты надгробной.
Событий многих связывая нить.
Ужели только мертвые способны
В подлунном мире правду говорить?!

* * *

— Наставники, не ведали вы
или,
Волшебный замок строя предо мной,
Живые раны, что кровоточили,
На выстрел обходили стороной?

— Ты времени дитя, ты мальчик века,
Ты шел по тропам гладким и прямым
И только одного лишь человека
Считал, как все, учителем своим.

— Вы, командиры, и честны и строги,
Но как случилось, что никто из вас

В моей душе не объявил тревоги,
Задуматься не отдал мне приказ?

— Солдат, ты не приписывай грехов нам,
Напоминаем, если позабыл:
Для нас и для тебя всегда верховным
Один главнокомандующий был!

— Как осенять,— я говорю знаменам,—
Добро со злом могли вы наравне?
И судьям говорю я и законам:
— Как вы невинных ставили к стене?!

— Не в нас вина, вина в твоей лишь роли:
С его рукой отождествлял ты флаг.
И судьи огрызаются: — Давно ли
Твоим законом был его кулак?!

— Родной отец, неся раздумий гору,
Зачем и ты о многом умолчал?
— Боялись сыновей мы в эту пору,
И ты отцом другого величал.

Я небо не оставил без упрека:
— Где ты, всевышний, в это время был?
— Я заклинал: не сотвори пророка,
А ты из смертных бога сотворил.

Зачем вершины таинством покорным
Легенду окружали всякий раз?
— Его орлом именовал ты горным
И пел о том, что взмыл он выше нас!

— Скажи, Октябрь, ужели был не в силе
Ты чистоты мне преподать устав?
— Историю мою перекроили,
Героям битв измену приписав.

Под медный шелест гербовых колосьев
В иную быль поверили сердца.
И возвышался несвятой Иосиф
В бессмертном чине моего творца.

Бледнеют звезды на небе, как жемчуг,
И сон, ко мне на цыпочках входя,

Перед зарею милосердно шепчет:
— Спи, времени двуликого дитя!

* * *

Может быть, снится мне эта картина,
Может быть, в мыслях живет;
Ворон тюремный, лихая машина
Встала у наших ворот.

Грохот ударов тревожных и властных,
Дверь я открыл, и не зря,
Кровью пахнуло с околышей красных
В свете ночном фонаря.

Сердце мое застонавшим чунгуром
Кануло в бездну тотчас.
Вижу полковника с ликом чугунным,
С каменным холодом глаз.

Веки увенчаны тяжестью складок,
В деле чужда ему прыть.
Он говорит, соблюдая порядок:
— Паспорт прошу предъявить!

Перемигнулись незванные гости:
«Вот, мол, он — волчья родня».
Вздрогнул я, словно вколачивать гвозди
Начал полковник в меня.

И ощутил я озноб казематов,
Зоркость нацеленных дул.
— Кто вы? Фамилия ваша?
— Гамзатов!
— Как ваше имя?
— Расул!

— Ваше занятие? — Я стихотворец!
— Где родились и когда?
— Местный я буду. Рождением горец.
Год двадцать третий! Цада!

Будто о собственном вспомнив нагане,
Кинув ладонь на бедро,

— Есть ли оружие? — спросил,
Как в тумане, я показал на перо.

Обыск последовал. Дом перерыли,
Книги листали сто раз.
Малых детей моих двух разбудили.
Лезли под каждый матрас.

Словно больных доктора на приеме,
Опытно, не сгоряча
Голые стены прослушали в доме,
В белую грудь им стуча.

Всюду крамолы им виделся призрак,
Виделись козни одни.
Тысячи строчек моих рукописных
Конфисковали они.

Милые строки в простом переплете,
Что с вами будет теперь?
Слышу я: — Следуйте! С нами пойдете!
Сами открыли мне дверь.

Словно я был на другом уже свете,
Черной казалась луна.
А за спиной моей плакали дети
И причитала жена.

Саваном сизым покрылась вершина,
Стыла беззвездная темь,
Хлопнула дверца. Рванулась машина —
Времени верная тень.

Ход у нее был и мягкий, и скорый,
Только слышался тут
Скрип мне колесный арбы, на которой
Мертвое тело везут.

* * *

Меня окутал полумрак подземный,
Вступаю на цементные полы,
Похоже, привезли меня в тюремный
Отверженный подвал Махачкалы.

А может быть, поэт земли аварской,
Доставлен на Лубянку я, а тут
Те, что молчали пред охранкой царской,
Любые обвиненья признают.

Горит душа — открывшаяся рана,
И запеклись в устах моих слова,
Один меня — он в чине капитана,
Бьет, засучив по локоть рукава.

Я говорю ему, что невиновен,
Что я еще подследственный пока.
Но он, меня с окном поставив вровень,
Хихикает: — Валяешь дурака!

Вон видишь, из метро выходят люди,
Вон видишь — прут через Охотный ряд,
Подследственные все они, по сути,
А ты посажен — значит, виноват!

Мне виден он насквозь, как на рентгене,
Самодоволен и от власти пьян,
Не человек, а только отпрыск тени,
Трусливого десятка капитан.

(А где теперь он? Слышал я: в отставке,
На пенсии, в покое, при деньгах.
Охранные в кармане носит справки
И о былых мечтает временах.)

Мой капитан работает без брака,
А ремесло заплечное старо...
— Ты враг народа! Подпиши, собака! —
И мне сует невечное перо.

И я сдаюсь: подписана бумага.
Чернеет подпись, будто бы тавро.
Я для себя не кто-нибудь, а Яго,
Будь проклято невечное перо!

Поставил подпись времени в угоду,
Но невиновен и душою чист,
Не верьте мне, что изменял народу,
Как буржуазный националист.

Признался я, но даже и придуркам
Покажется не стоящим чернил
О том мое признание, что туркам
Я горы дагестанские сулил.

И хоть признался, верить мне не надо,
Что за какой-то мимолетный рай
Скуластому японскому микадо
Я продал наш Дальневосточный край.

Но есть и пострашнее преступенье,
Терпи, терпи, бумаги белый лист:
Я на вождя готовил покушенье,
Как правый и как левый уклонист.

Был немцами расстрелян я, но силы
Еще нашел и в ледяной мороз,
Как привиденье, вылез из могилы
И до окопов Родины дополз.

О, лучше мне остаться б в той могиле
И не глядеть на белый свет очам!
Дополз живым. В измене обвинили
И на допрос таскали по ночам.

Во всем признался, только вы проверьте
Мой каждый шаг до малодушных фраз,
Во всем признался, только вы не верьте
Моей вине, я заклинаю вас.

Взяв протокол допроса из архива,
Не верьте мне, не верьте и суду,
Что я служил разведке Тель-Авива
В сорок девятом вирусном году.

Мечтаю, как о милости, о смерти,
Глядит с портрета Берия хитро.
Вы моему признанию не верьте,
Будь проклято не вечное перо!

* * *

То явь иль сон, мне разобраться трудно,
У конвоиров выучка строга.

За проволокой лагерною тундра
Или стеною ставшая тайга?

Что знаешь ты, страна, о нашем горе?
Быль не дойдет ни в песне, ни в письме.
Нас тысячи невинных — на Печоре,
На Енисее и на Колыме.

На рубку леса ходим под конвоем,
Едим баланду. Каторжный режим.
И в мерзлоте могилы сами роим
И сами в них погибшие лежим.

С лица земли нас, лихолетьем стертых,
Немало в человеческой семье.
А мародеры обокрали мертвых
И славу их присвоили себе.

* * *

— Скажи, земляк, в чем кроется причина
Того, что в Магадан твой путь пролег?
— Родился сын, и в честь рожденья сына
Послал я, горец, пулю в потолок.

Но пуля, подчиняясь рикошету,
Иного направленья не найдя,
Пробила, отлетевшая к портрету,
Навылет грудь великого вождя.

И вот я здесь под властью конвоиров,
Как тот рабочий, чья душа чиста,
Которого пред всем заводом Киров
За трудолюбье целовал в уста.

Скажи, чекист, не потерявший совесть,
Зачем забрел в печальный этот лес?
Оставь пилу и прыгни в скорый поезд,
Сейчас ты людям нужен позарез.

Антонову-Овсеенко и с громом,
И с музыкою рано умирать.
Он зарубежным будущим ревкомам
Еще обязан опыт передать.

Лес пожелтел, и небо в звуках трубных,
И в первый класс направился школяр.
Зачем вы здесь, зачем, товарищ Бубнов?
Вас ждут дела, народный комиссар!

Вдали от лагерей у молодежи
Широк и дерзок комсомольский шаг,
Но вас, товарищ Косарев, ей все же
Так не хватает, пламенный вожак!

Борис Корнилов, друг ты мой опальный,
Читай стихи и не забудь одно:
Что на странице книжной и журнальной
Их ждут твои поклонники давно.

Бойцам запаса посланы повестки,
Пехота немцев лезет напролом,
Поторопитесь, маршал Тухачевский,
Предстать войскам в обличье боевом.

Пусть гений ваш опять блеснет в приказе
И удивит ошеломленный мир.
Федько пусть шлет к вам офицеров связи
И о делах радирует Якир.

Но их, приговоренных к высшей мере,
Не воскресить и богу, а пока
В боях невозместимые потери
Несут осиротелые войска.

И повеленьем грозного владыки,
Как под метелку, до одной души,
Чеченцы выселяются, калмыки,
Балкарцы, карачаи, ингуши.

Бросают на тюремные полати
Мужей ученых, к торжеству ослов,
Вавилов умирает в каземате.
И Туполе~~в~~ сидит, и Королев.

Еще года расплаты будут долги
И обернутся множеством невежд,
И горьким отступлением до Волги,
И отдаленьем брезжущих надежд.

Везут, везут.

Хоть произвол неистов,
А страх людские затыкает рты,
Советский строй мой, не виновен ты,
И в нас не уничтожить коммунистов,
Призвания высокого черты.

За проволокой лагерная зона,
Прожекторов насторожился свет.
Пускай товарищ Постышев законно
Здесь соберет Центральный Комитет.

И наши руки, обернувшись бором,
Взлетят до неба огражденных мест.
Все по уставу. Полномочный кворум,
И впереди еще Двадцатый съезд!

* * *

О, вера в тюрьмы заключенных
И сосланных на край страны.
Еще немало заключенных
Ему — Иосифу — верны.

Не избежавшие посадок
В душе надеются: «Вот-вот
Узнает Сталин и порядок
В НКВД он наведет».

Живет нелепо, как химера,
Как неразумное дитя,
Почти языческая вера
В непогрешимого вождя.

И коммунист у стенки станет
И закричит не для газет:
— Да здравствует товарищ Сталин! —
И грянет залп ему в ответ.

Потом ни холмика, ни вехи
И место выровнят само...
Перед расстрелом пишет Эйхе
На имя Сталина письмо.

Когда умелец дел заплечных
В больной впивался позвонок,
Он, человек, нечеловечных
Мучений вынести не смог.

И головы густую проседь,
Склонив над пузырьком чернил,
У Сталина прощенья просит,
Что сам себя оговорил.

Был следователь только пешкой,
Но Эйхе это не учел.
И Сталин с дьявольской усмешкой
Письмо посмертное прочел.

Звезда сорвалась с небосвода
И канула в ночную тьму.
Пишу и я вождю народа,
Железно преданный ему.

И с журавлиною станицей
Посланье шлю, как сын родной...
Проходят дни. Чугунолицый
Встает полковник предо мной.

* * *

Я, увидав полковника, не обмер,
Всяк лагерник, что стреляный солдат,
— Фамилия?! Свой называю номер:
— Четыре тыщи двести пятьдесят.

Нацелен взгляд тяжелый, как свинчатка,
Но чем-то он встревожен, не пойму...
— В Москву писал? — спросил знаток порядка,
Таинственно добавив:
Самому?!

Быть может, это явь, а, может, снится
Мне вещий сон на бурке из Анди? —
— Свободен ты, —

сказал чугунолицый,
И распахнул ворота:
— Выходи!

И я, покинув гибельное место,
Иду и плачу — стреляный солдат,
И мне, как прежде, мне, как до ареста
«Товарищ, здравствуй!» —
люди говорят.

И вижу я: летит быстрее поезд,
В домах светлее светятся огни.
Крестьянами взлелеянный на совесть
Хлеб колосится, как в былые дни.

И звезды над Кремлем не побелели,
На Спасской башне стрелки не стоят,
И молодая мать у колыбели
Поет, как пела сотни лет назад.

Был враг разбит. .
И я смотрю влюбленно
На площадь, где прошли с победой в лад
Войска,
швырнув трофейные знамена
К подножью принимавшего парад.

Но оттого, что нас зазря карали
Победа крови стоила вдвойне.
И стоя над могилами в печали,
Оплакиваю павших на войне.

Мои два брата с фронта не вернулись,
Мать не снимает черного платка.
А жизнь течет.

И вдоль аульских улиц
Под ручку ветер водит облака.

По-прежнему влюбленные танцуют,
Целуются, судачат про стихи,
А лекторы цитаты все тасуют
И говорят всерьез про пустяки.

И с дирижерской властью роняя
Слова насчет немелодичных нот,
Вождя соратник, сидя у рояля,
Уроки Шостаковичу дает.

В театре, в министерстве, в сельсовете,
В буфете, в бане, в здании суда,

Куда ни вступишь — Сталин на портрете
В армейской форме, в штатской — никогда

Сварила мать из кукурузы кашу,
Но в мамалыгу молока не льет,
И сообщает горестно, что нашу
Увел вчера корову заготскот.

Кавказ, Кавказ, мне больно, в самом деле,
Что разучившись лошадей седлать,
Твои джигиты обрели портфели,
Сумели фининспекторами стать.

В ауле слышу не зурны звучанье,
Бьет колокол колхозного двора:
— Пора! Пора!

Проснитесь, аульчане,
Вам на работу выходить пора!

Шлют из района,
план спустив в колхозы,
Угрозы все да лозунги одни,
От горькой прозы набегают слезы,
Ох, дешевенько стоят трудовни.

Каков твой вес, державы хлеб насущный,
Что собран и приписан вдалеке?
Не знает Сталин — корифей научный,
Им поднят вдруг вопрос о языке.

Идет в кино «Падение Берлина»,
И, обратясь к тому, что было, встарь,
Перо льстеца жестокость обелило:
Играется «Великий государь».

Вождь начал делать возрасту уступки,
Он крепкого вина не пьет в обед,
Не тянет дыма из вишневой трубки,
Довольствуется дымом сигарет.

На всех широтах в тюрьмах и на воле,
На поле боя, на столбцах газет,
Позванивая сталью,

не его ли
Царило имя три десятка лет?

На льдину с этим именем садились
Пилоты, прогремев на весь Союз.
И на обложку это имя вынес
Своей последней повести Барбюс.

Оно на скалах Сьерра-Гвадаррамы
Для мужества звучало, как пароль,
И мужество несло его, как шрамы,
Как на висках запекшуюся соль.

— За Сталина! —

хрипел с пробитой грудью,
Еще полшага сделав политрук.
И лгнуло это имя к многопудью
Парадной бронзы, отлитой вокруг.

На встречах в Ялте вождь держался роли,
Которая давно ему мила.
Входил он в зал

и Черчилль поневоле
Пред ним вставал у круглого стола.

Но что с былой уверенностью случилось?
Уходят силы. Боязно ему.
Отец народов собственную старость,
Когда бы мог, сослал на Колыму.

Он манией преследованья болен.
Не доверяет близким и врачам.
И убиенных позабыть не волен,
Ему кошмары снятся по ночам.

Я в горы поднимаюсь ли высоко,
По улицам брожу ли городским,
Следит за мною, как царево око,
Чугунолицый, зорок и незрим.

Перед Кремлем, как будто бы три бури
Овация гремит.

И я, чуть жив,
Смотрю: возник Иосиф на трибуне,
За борт шинели руку положив.

Предстал народу в облике коронном.
И, «винтиками» прозванные им,
Проходят в построении колонном
Внизу, как подобает рядовым.

Лихого марша льется голос медный,
И я иду — державы рядовой.
И хоть я винтик малый, неприметный,
Меня сумел заметить рулевой.

Мы встретились глазами.
О, минута,
Которую пером не описать.
И еле слышно вождь сказал кому-то
Короткое, излюбленное:
— Взять!

Усердье проявил чугунолицый:
Он оказался шедшим позади...
Быть может, это явь, а, может, снится
Мне вещий сон на бурке из Анди.

* * *

Как вы ни держались бы стойко,
Отвергнув заведомый вздор,
Есть суд, именуемый «тройкой»,
Его предрешен приговор.

Не ждите, родимые, писем,
И встречи не ждите со мной,
От совести суд независим,
За каменной спрятан стеной.

Он судит меня, незаконный,
Избрав роковую статью.
Безгрешный я, но обреченный
Пред ним одиноко стою.

Запуганная и святая,
Прощай, дорогая страна.
Прощай, моя мама седая,
Прощай, молодая жена.

Родные вершины, прощайте.
Я вижу вас в сумраке дня.
Вы судей моих не прощайте
И не забывайте меня.

Залп грянул.

Откликнулось эхо—
И падают капли дождя,
И взрывы гортанного смеха
Слышны в кабинете вождя.

* * *

То явь или сон:

попал я в мир загробный,
Вокруг окаменевшая печаль.
Сюда за мной, хоть ловчий он способный,
Чугунолицый явится едва ль.

Здесь мой отец и два погибших брата,
И сонм друзей седых и молодых.
Восхода чаша легче, чем заката,
Извечно мертвых больше, чем живых.

И бороду, как встарь, окрасив хною,
Шамиль, земной не изменив судьбе,
Отмеченный и славой и хулою,
Лихих наибов требует к себе.

Вершины гор ему дороже злата.
Еще он верен сабле и ружью.
Еще он слышит глас Хаджи-Мурата:
— Позволь измену испробовать в бою.

В загробный мир не надо торопиться,
И виноват лишь дьявольский закон,
Что раньше срока Тициан Табидзе
Из Грузии сюда препровожден.

Как в Соловках, губителен тут климат,
И я молву, подобную мечу,
О том, что страха мертвые не имеют
Сомнению подвергнуть не хочу.

Но стало страшно мертвецам несметным,
И я подумал, что спасенья нет,
Когда старик,

считавшийся бессмертным
В парадной форме прибыл на тот свет.

В стране объявлен траур был трехдневный,
И тысячи,

не ведая всего,
Вдруг ужаснулись с горестью душевной:
«А как же дальше? Как же без него?»

Как будто бы судьбой самою к стенке
Поставленные,

сделались бледны,
И стало им мерещиться, что стрелки
Остановились на часах страны.

Скончался вождь! Кто поведет державу?
За тридцать лет привыкли,

видит бог.
К его портретам, имени и нраву,
Похожему на вырванный клинок.

К грузинскому акценту и к тому, что
Как притчи, славясь четкостью строки,
Написанные лишь собственноручно,
Его доклады были коротки.

Привыкли и к тому, что гениален,
Он, окруженный тайною в Кремле.
И к подписи незыблемой «И. Сталин»,
Казавшейся насечкой на скале.

Он знал, что слово верховодит битвой,
И в «Кратком курсе» обрела права
Считаться философскою молитвой
Четвертая ученая глава.

В нем часто гнева созревали грозди
И всякий раз под мягкий скрип сапог
Вновь намертво вколачивал он гвозди
Так, что никто их вытащить не мог.

А узел завязал, что и поныне
Руками не развяжешь, как ни рви.

Да и зубами тоже по причине
Того, что он завязан на крови.

Приход весны всегда первоначален,
Но и весной не избежать утрат.
Дохнуло мартом, а товарищ Сталин
Лежит в гробу багровом, как закат.

И в тюрьмах, и в бараках закопченных,
Во глубине таежного кольца,
У многих коммунистов заключенных
От этой вести дрогнули сердца.

Слепая вера, что святая вера,
И было думать им невмоготу,
Что Сталина партийная карьера
Под ними кровью подвела черту.

И словно все нашептывал им кто-то,
Что исподволь легли в основу зла
Ежова и Вышинского работа,
Меркулова и Берия дела.

А Сталин чист и недруги закона
Сошлись, его вокруг пальца обводя.
(Была сестрою ты попа Гапона,
Слепая вера в доброго вождя!)

Усы седые. Звезды на погонах.
И темно-желт окаменелый лик.
Зачем пришел тревожить погребенных,
Не к ночи будь помянутый, старик?!

Еще в стране газеты причитают,
Еще тебя оплакивают в них,
Но подожди, иное прочитают
Живые о деяниях твоих!

Не ты ль, как в инквизицию монахи,
Посеял страх, правдивость загубя!
Тебе одно бывало скажут в страхе,
А думают другое про себя.

Прославленный наукою обмана,
Еще живешь ты, злая голова,

В надежде отставного капитана,
Что вновь он закатает рукава.

Хоть время, потрудившись в чистом поле,
Посеянное вытоптало впрок,
Чуть где не углядишь — и поневоле
Опасный пробивается росток.

Еще в пылу прижизненной гордыни,
Между живыми вкрадчив и двулик,
Как тень, как призрак, бродишь ты поныне,
Не к ночи будь помянутый старик.

* * *

Как для меня загадочен твой облик,
Сын мастера по имени Сосó,
В пятнадцать лет стихи писавший отрок.
Чье оспою исклевано лицо.

Еще в начале нынешнего века,
Легко забывший про былую страсть,
В себе отрекся ты от человека,
Познав неограниченную власть.

Как объявился на стезе греховной
Ты, путь начавший со священных книг,
Горийской семинарии духовной,
Тщеславьем одержимый ученик?

Как ты, кавказец, мог нарушить клятву,
Которую в печали произнес?
Кровавую к чему затеял жатву?
Кому ты в жертву скошенных принес?

Определявший время по курантам,
Хоть ты имел левофланговый рост,
Но в изваяньях делался гигантом,
Рукой при жизни доставал до звезд?

Ты пить отвык из горлышка кувшина
Прозрачного журчания родник.
И над могилой собственного сына
Слезы не пролил, каменный старик.

Открой мне, как на исповеди, главный
Поныне не разгаданный секрет:
На чем держалась, ставшая державной,
В тебя людская вера тридцать лет?

К посмертным приготовленный парадом,
Соперник славы снятого с креста,
Меня измерив леденящим взглядом,
Неторопливо разомкнул уста:

— Слепая вера создает кумира,—
И вот тебе, как на духу, ответ,—
Легенда немудреная кормила
Воображенье ваше тридцать лет.

Вы завещанье Ленина забыли.
Лишь траурные флаги сняли с крыш.
И сделался Иосиф Джугашвили
Тем Сталиным, пред коим ты стоишь.

Я понимал, что видеть вы хотели,
Поверив не поступкам, а словам,
Не то, каким я был на самом деле,
А то, каким я представлялся вам.

Но ваша вера оказать услугу
Могла бы меньше мне в десятки раз,
Когда бы недоверие друг к другу
Я лично не посеял среди вас.

И в мысли к вам, и в строки ваших писем
Заглядывал всесущий мой контроль.
Опасен тот, кто в мыслях независим
И сам себе в суждениях — король.

Мог обласкать поэта я, к примеру,
Хоть жалок был его в искусстве вес.
И совершал желанную карьеру
Меня превозносивший до небес.

Я издавал жестокие законы,
Но разве согнутый в бараний рог,
Встречавший и восходы и заходы
Мне высказал в жестокости упрек?

Пусть кто-то восхищался красотой
И милостью высоких чувств людских,
Но вытравил, как будто кислотой,
Я это из опричников своих.

И всяк из них в работе был прилежен
И верил мне, что сострадание дым.
И то, в чем был воистину я грешен,
Приписывал противникам моим.

И потому стоял я у кормила,
И лишь на мне сходилась клином свет.
Легенда немудреная кормила
Воображенье ваше тридцать лет.

Благодарю, что видеть вы умели,
Согласно предоставленным правам,
Не то, каким я был на самом деле,
А то, каким я представлялся вам.

* * *

Летит ли ангел иль звезда по небу?
И наяву, во сне ли — не пойму,
Сегодня эту горькую поэму
Я Сталину читаю самому.

Приписывать мне храбрости не смейте!
Чего бояться? Двигутся года.
И раз одной не избежал я смерти,
Семи других не будет никогда.

Вождь слушает, прохаживаясь властно,
И головою грешной не поник.
Что каждая строка к нему причастна,
Он понимает — вдумчивый старик.

Вот первой рани вспыхнула лучина,
И в этот миг в одном его глазу
Я увидел смеющегося джинна,
В другом едва заметную слезу.

Как прежняя любовь была нелепа,
Злодеем оказался аксакал,
Таким Марии некогда Мазепа
В своем обличье истинном предстал.

Есть у аварцев древнее преданье,
Что с дня рожденья каждого аллах,
Поступки принимая во вниманье,
Ведет два списка на его плечах.

Запишет на одном плече благие
Деяния от малых до больших,
А на втором — запишет все другие,
Чтобы однажды сопоставить их.

И в тот же час, когда мы умираем,
То по заслугам, а не как-нибудь,
Нам воздается адом или раем,
И господа мольбой не обмануть.

Будь все равны перед таким законом,
То злодеянья списка не сумел
Укрыть бы вождь под маршалским погоном,
В отличие от списка добрых дел.

Забрезжило. Всему приходят сроки.
Ночная с неба сорвана печать.
Я на заре заканчиваю строки
Поэмы этой Сталину читать.

От моего полынного напева
Его надбровья налились свинцом.
Как в жизни, задыхается от гнева
Владыка с перекошенным лицом.

Уже бессилён сделать он уступку
Столетию летящему вперед.
И телефонную снимает трубку,
Заплечных дел полковника зовет.

Но в прошлом отзывавшаяся сразу
Ему на подчиненном языке
Не внемлет трубка грозному приказу
И холодно безмолвствует в руке.

— Пора, иного мира постоялец,
Тебе вернуться к должности земной! —
Сказал мне это партии посланец,
Торжественно явившийся за мной.

И я заколебался на мгновенье:
— А, может, лучше мне остаться тут?
Зачем менять покой на треволненья,
На вечный бой и на опасный труд?

Не сон, а явь истории суровой,
Творимой и написанной людьми,
И я воскрес, на вечный бой готовый,
Исполненный надежды и любви.

Не сон, а явь. Брожу вдоль шумных улиц,
И хоть меня венчает седина,
Как мальчик, плачу: к улицам вернулись
Их добрые, святые имена.

И в парках легче дышится деревьям,
Толпой оттуда статуи ушли.
И веточки зеленые с доверьем
На плечи дню грядущему легли.

Смотрю вокруг и вдоволь наглядеться
Я не могу, воскресший человек.
В моей груди одно пылает сердце,
Второе сердце умерло навек.

Будь счастлив, лад рожденья жизни новой.
Ты весь в моем сознании и в крови.
И за тебя на вечный бой готовый,
Исполнен я надежды и любви.

1960—1962.

СОДЕРЖАНИЕ

Любовь Шамиля	3
Люди и тени	6

Расул Гамзатович ГАМЗАТОВ

ДВЕ ПОЭМЫ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 6.05.88. Подписано к печати 17.06.88.
Формат 70 x 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсет-
ная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отт. 1,58. Учетно-изд. л. 1,43.
Тираж 150000 экз. Зак. № 2421. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.